

Ямская слобода / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 23 января, 2025

Ямская слобода / рассказ ЯМСКАЯ СЛОБОДА

1.

Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного дощатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу – раз в неделю, – и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот – три железных заржавленных документа, одинаково древних:

«З. В. Астахов. № 192».

А сверху фамилии нарисованы в виде герба вилы и ведро; это означало, что домохозяин должен тащить на чей-нибудь пожар эти инструменты против огня. Другой документ гласил просто: «Первое Российское Страховое Общество. 1827 г.». Это указывало, что дом застрахован. А третья железка приглашала покупателей: «Сей дом продается», – но ни один человек не заходил по этому делу к З. В. Астахову уже двадцать пятый год; поэтому железо успело померкнуть, а домовладелец забыл, зачем повесил его.

Прадед Захара Васильевича Астахова был царским ямщиком. Тогда правила царица Екатерина Вторая, а степные места стояли пустыми и страшными. В поселенцы сюда шел с севера на все согласный, норовистый, натерпевшийся народ. Люди думали найти здесь вольный хлеб, а встречали нужду, крутой труд и быстро дичали в дальней заброшенности. Но царица таких поселенцев редко трогала, хотя и были среди них люди преступного почина, немало вчинившие беды своим помещикам на северной родине. Царица рассматривала эту степную пустошь, залегшую меж южным

морем и Москвой, как дорогу в теплую страну, которая ей зачем-то была необходима. Поэтому поселенцев она сочла дорожными жителями, нужными для прогона курьеров и чиновников по девственным степям. Редкий степной народ сразу приноровился к такой царской нужде – развел хороших худощавых лошадей, учредил кузницы и постоянные дворы, расставил по трактам трактиры – и начал возить всякую казенную службу.

Иные поселенцы, особо бедовые или богомольные, ушли глубже в степь, подальше от гонных трактов, и не стали причастными к казенному заработку. Там такие выходцы занялись глухой жизнью и годами ели свой хлеб, не видя казенного человека. Их-то и обделила впоследствии царица.

А кто пожадней и пояростней на легкую, веселую жизнь, тот остался на новых степных трактах, сел на облучок тарантаса, либо хлопотал в трактире и на постоялом дворе. А самые северные и западные уроженцы – из бесхлебных кустарных мест – устроили при дороге горн и наковальню и стали кузнецами. Иногда по степи неслись большие царские люди – тем было лестно угодить.

В старинной Ямской слободе, когда она была только придорожным хутором ямщиков, жили трое особых мужиков – предки Астахова, Теслина и Щепетильникова. Они отличались от прочих поселенцев неистовой ревнивой любовью к лошадям, бабьим сладострастием и угодливой завистью к проезжим генералам и чиновникам. Они уже думали о своих конных заводах, только удобного случая разбогатеть не выходило.

Когда им приходилось спешно мчать какого-нибудь посланца из Петербурга, то они выпарывали из лошадей всю мочь: знали, что царский человек не обидит и даст ассигнаций на пару лошадей, когда одна упадет.

Купцы по этому направлению ездили редко – они больше почитали восточные или западные долгие реки: степную скачку они не уважали, а товары волокли навалом по дешевой воде.

Легкая жизнь шла недолго – года четыре. А потом чиновники сразу перестали густо платить. Если же даст, то такую малость, что на деготь не хватит.

– Мы, – говорят, – по казенной императорской цене

вознаграждаем, а обиду императрице неси.

Ямщики притаили злобу и молчали. Вскоре же чиновники совсем перестали платить.

– На казенной земле, – говорят, – даром живете, – благодарите царицу, а то враз отсюда вон Потемкин погонит! Возить нас не труд, а развлечение и отечественная повинность! Поняли?

Ямщики понимали и уходили в темноту восточных степей – заниматься святым хлебопашеством. Так и погас степной ямщицкий промысел.

Но не все ямщики разбрелись – некоторые так втянулись в степную дорогу, что остались. Влекло их главным интересом то, что они надеялись на какую-нибудь награду от знатных ездоков и не верили, что всегда будет даровая гонка. Кроме того, они налегли на дорожные трактиры и постоянные дворы, где драли заграничные цены, как определил один проезжий.

Когда стало совсем мало степных ямщиков, то с государственными делами на юге России пошла неуправка: нужные чиновники задерживались в степи и не могли приехать в срок. Царице доложили, что степняки – бедный и своевольный народ, лучше пока их расположить чем-нибудь, – степной путь велик, и никакой злостной суеты на нем быть не должно. Царица определила по куску степи на каждого усердного и особо исполнительного ямщика. А заботу по поименному названию таких ямщиков – для следующего награждения их землей – возложила на ученого академика Бергравена, как сподручное ему дело в его странствии по южнорусской степи: Бергравен как раз в тот срок выезжал из Петербурга с научными изысканиями в русскую равнину и неоднократно должен пересечь ее во всех направлениях. Поэтому все ямщики ему будут налицо.

Бергравен был очень пожилой человек и весь расслабленный. Когда он попал к прадеду Астахова, то лег на полати и пролежал в полной слабости две недели, а ямщику Астахову сказал:

– Ты поезди-ка, дружок, один по степи да посмотри на высоких гладких местах: нет ли на земле завязи или скрепы какой, – вроде пуповины у тебя на животе: найдешь, тогда мне скажешь!

Сначала Астахов из страха ездил верхом по степи и искал земного пупка. Он даже удивлялся, почему раньше его не

заметил. Но потом ездить перестал, а спал в дальней лощине целыми днями. Каждый вечер ученый его спрашивал:

– Ничего не обнаружил, дружок? Он ведь большой должен быть, вроде пня или кургана – весь в рубцах и расщелинах. А в щелях должна быть плутоническая твердая грязь! Ты не забудь пунктуально рассмотреть – тогда мне расскажешь!

– Ничего не заметил, ваше сиятельство, – одна ровная степь и ковыль! Где-нибудь пуп должен находиться; я догадываюсь, не в овраге ли он! Без пупа земля расползлась бы – без шва нельзя!

– Ну вот, ну вот! – радовался чему-то ученый человек. – Конечно, земной замок имеется. Только где он, дружок?

– Может, в логу, ваше сиятельство? – покорно доводил до сведения ученого Астахов.

– Ну, чудачок, чудачок, что ты говоришь? Разве у тебя пуповина под мышками сидит? А? Ну что ты говоришь, ты подумай сам!

– Разыщу, ваше сиятельство, будьте покойны, отдохайте! – говорил Астахов и шел на другой день с утра в лощину. Он уже у стариков спрашивал: где пупок на земном животе? Никто, оказывается, не видел.

– Может, и есть где в сердцевине степи, – ай туда доскачешь? Астахов не хотел морить коня – сказал ученому, что уезжает на три дня в высокую Дальнюю степь, а сам ускакал к куму-казаку в гости, за сорок верст.

– Что скажешь, дружок? – спросил ученый через три дня. – Доехал до пуповины?

– Нашел, ваше сиятельство! – сказал Астахов, равнодушно вздохнув. – В бугристом месте посередине степи торцом стоит – весь червивый такой, в кровоточинах и шитый из кусков! А видать, старый такой, обветшалый и из живого тела сотворен!.. Ученый неделю пытал Астахова и исписал на псалтыре целую стопку бумаги. Уезжая, ученый дал бумагу Астахову на сорок десятин земли, какую он сам выберет в степи.

Другие ямщики тоже кое-что урвали от ученого. Но сами ямщики до земли и до труда были не усердны – и роздали ее за малую аренду новым поселенцам-хлебопашцам.

Потом и царица умерла, и тракты пошли скорые, и почта учредилась, а Ямская слобода осталась навсегда. Только от

старых времен у слобожан сохранилась земля, которую они по-прежнему сдавали крестьянам, да звание ямщика, хотя давно ни у кого не было ни одной легкой лошади.

Слободские люди жили тем, что привозили им мужики за землю, а добавляли к этому подсобный заработок, иногда мастерство и собственную бережливость.

2.

В нынешний июльский день Захар Васильевич Астахов со сподручным парнем филатом чинил в саду плетень. Про Филата слободские люди говорили:

Наш Фи латка –

Всей слободе заплатка.

А девки лопотали в праздники:

Ах, Латушка, Филат –

Ни сопат, ни горбат.

Ничем не виноват.

Сам дэвицам рад.

А и вдовушкам не клад!

Это напрасно – Филат девицам не радовался; он – человек без памяти о своем родстве и жил разным слободским заработком: он мог чинить ведра и плетни, помогать в кузнице, замещал пастуха, оставался с грудным ребенком, когда какая-нибудь хозяйка уходила на базар, бегал в собор с поручением поставить свечку за болящего человека, караулил огороды, красил крыши суриком и рыл ямы в глухих лопухах, а потом носил туда вручную нечистоты из переполненных отхожих мест.

И еще кое-что мог делать Филат, но одного не мог – жениться. На это ему не раз указывали – летом кузнец, а зимой шорник Макар:

– Што ж ты, Филя, век свой зябнешь: в бабе – полжизни! Не раздражай себя, покуда тебе тридцать лет, потом рад бы, да кровостой жидок будет!

Филат немного гундосил, что люди принимали за признак дурости, но никогда не сердился:

– Да я непосилен, Макар Митрофаныч! Мне абы б самому

прокормиться да сторонкой прожить! Да в слободе и нету такой дурной девки, чтобы по мне пришлась!..

– Вот хреновина какая! – говорил Макар. – Да аль ты дурен? У мужика не облицовка дорога, а сок в теле! Про то все бабы знают, а ты нет!

– Какой во мне сок, Макар Митрофаныч? Меня на мочегон только чего-то часто тянет, а больше ничем не сочусь!

– Дурной ты, Филат!.. – скорбно кончал Макар и принимался трудиться.

Филат работал спешно во всяком деле, а в кузнице у Макара Митрофановича с особой бодростью. Макар Митрофанович все больше говорил с мужиками-заказчиками, а Филат один поспевал, как черт в старинной истории: «Дуй – бей – воды – песку – углей!»

Но в нынешний день Филат помогал Захару Васильевичу. Июль удался погожий и знойный: самая пора для хлеба и сена. Сад З. В. Астахова прилегал сзади к самому двору и тоже был окружен садами других домовладельцев. В саду росло всего деревьев сорок – яблони, груши и два клена. Промежду деревьев место заняли лопух, крапива, крыжовник, малина и прелестная мальва, которая ничем не пахла, несмотря на красоту цветов.

– Закуривай, Филат! – закричал Захар Васильевич. – Глянь, сегодня день какой благородный, как на троицу!

Филат покорно слез с плетня и подошел к Захару Васильевичу, хотя не курил. Захар Васильевич был глуховат и время от времени спрашивал: «А?» Но Филат ничего не произносил, и Захар Васильевич, поведя на него белыми глазами, успокаивался насчет необходимости ответа.

Захар Васильевич курил, а Филат так просто стоял. Филат никогда не имел надобности говорить с человеком, а только отвечал, Захар же Васильевич постоянно и неизбежно мог думать и беседовать только об одном – о своем цопком сладострастии, но это не трогало сердце Филата. Сейчас тоже Захар Васильевич попытал Филата по этому делу.

Филат прослушал и вспомнил Макара Митрофановича – тот каждое воскресенье читал вечером по складам книги своей семье, а домашние и Филат умильно слушали чужие слова.

– Макарий Митрофанович по-печатному читал, – что в женщине человеку откроется, то на белом свете закроется.

– Да ну, чушь какая! – удивлялся и отвергал Захар Васильевич.

– Я не знаю, Захар Васильевич, в книге по-печатному написано!

– не сопротивлялся Филат, но сам тайно верил в справедливость книги.

Поработав на плетнях еще часа два, труженики шли обедать.

В той степной черноземной полосе, где навсегда расположилась Ямская слобода, лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Душащая сила черноземного плодородия исходила даже в излишних растениях – лопухах и репьях – и способствовала вечерней, гложащей мошкаре.

В тот июль было душно – людей тянуло на квас и на легкую жидкую пищу. Хозяйка Захара Васильевича поставила обед на дворе. Стол был накрыт под кущей сирени – в прохладной тени. Жадный, нетерпеливый Захар Васильевич сейчас же подошел к столу, не ожидая жены, а Филат совестливо остановился вдалеке. Захар Васильевич, увидя в чашке молоко, подернутое пленкой, подумал, что оно – холодное. Он взял половник и без оглядки, наспех хватил его целиком внутрь. Вслед за этим первым принятием пищи он харкнул и неожиданно – с большой скоростью – перелез через забор к соседу. Филат смутился, как будто он был виноват, и отошел еще дальше от стола. Вышла хозяйка и спросила:

– А где же Захар-то?

– К соседу чего-то кинулся!

– А кто молочный кулеш расплескал? Ты, что ль, хватаешь, не дожدهшься никак, – ведь он вар!

– Я не брал, – сказал Филат, – это хозяин покушал.

Но хозяин пропал и пришел не так скоро. Он обошел длинную улицу с обеих сторон и тогда вошел в калитку на свой двор. Филата тяготила немощь от голода, но он терпел. Хозяйка поймала курицу, которая квохтала и хотела сесть наседкой, и окунула ее в кадку с водой, слегка попарывая хворостиной, чтобы курица бросила свою блажь и начала нести яйца.

Тогда вошел Захар Васильевич и, совсем успокоенный, кротко сказал:

– Давайте обедать – все нутро сжег!

Аккуратней и меньше всех ел Филат. Он знал, что он всем чужой и ему никто не простит лишней еды, а в будущий раз – откажут в работе.

За обедом Захар Васильевич по глухой привычке иногда спрашивал:

– А?

Но евшие молча чавкали, и разговор не начинался. Когда хозяйка дала говядину, то Филат присмотрелся к своему куску и начал копать его пальцами.

– Чего ты? – спросил Захар Васильевич.

– Волосья чьи-то запутались! – ответил Филат, стеснявшийся своей брезгливости.

– Пищей требуешь! – сказал хозяин. – А ты глотай ее – пущай она потом в пузе разбирается!

Здесь Захар Васильевич добродушно поглядел на жену: дескать, ничего, дело терпится!

Хозяйка разглядела волосок на мясе Филата и раздраженно заявила:

– Да ты небось сам его приволок своими погаными руками – у меня таких длинных и нету!

Захар Васильевич сейчас ел мягкую кашу, но спешил, как зверь, стараясь захватить побольше.

– Хо-Хо-хо! Да что ты, Филат, одного волоса испугался – у твоей присухи сколько их будет! Весь век во щаж ловить будешь!..

Филат стеснительно улыбался и давно проглотил волос, чтобы не обижать хозяев.

– Захарушка, правда, нынче каша хорошо упарилась? – нарочно ласково спросила жена, чтобы муж забыл поскорее про нечистоплотный волос.

Хозяин тогда медленно начал жевать кашу, чтобы взять ее достоинство, и дал среднюю оценку:

– Каша – терпимая!

Тут отворилась калитка и вошел пожилой человек – с кнутом в руках, но без лошади.

Захар Васильевич, не ослабляя своей работы над обедом, дал человеку подойти к столу и потом спросил:

– Ты чего, Понтий?

Человек помолчал, снял зимнюю шапку, на кого-то перекрестился и степенно сказал:

– Ну, здравствуйте! Приятного вам аппетита! – и замолчал; а Филат ожидал, смотря на его приготовления, что он сейчас расскажет бог знает что.

– Здравствуй! – приветствовал гостя хозяин и, рыгнув, положил ложку – Будя, натрескался! Ты насчет ямы, Понтий? Теперча не нужно: Филат намедни горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на Расправу!

Человек с кнутом еще постоял и ушел не сразу.

– Так, стало быть, теперча не нужно?

– Нет, Понтий, Филат живьем все унес! – ответил хозяин.

– Ну, а когда дело будет неминуемо – нас не забывайте, Захар Васильевич!

– Ну еще бы, Понтий! Только бочку полней наливай и черпак возьми не худой, а что тебе Макар заново справил!

– Да уж чего там, Захар Васильевич! Возкой не обижу! Прощевайте пока!

– С богом, Понтий! По улицам добро не проливай – вонь от тебя с малолетства помню!

Но Понтий не услышал последнего напутствия: его кнут раздражал собак – и дворовый Волчок моментально начал лаять, как только Понтий отошел от стола.

Это был Пантелеймон Гаврилович – хозяин слободского ассенизационного обоза, самый богатый и самый скромный человек во всей слободе. Для простоты и из уважения к нему люди его звали Понтием. Работал Понтий с семи лет на одном и том же деле, ел с рабочими один хлеб и много лет не спал ночей, подремывая лишь на передке дрог с бочкой, когда обоз выезжал из слободы в глухой дальний лог.

– Вот тебе бы золотарем стать – хлебное дело! – говорил после обеда Захар Васильевич Филату и задумывался – как будто и сам

не прочь стать им. Но Филат и раньше думал про это занятие, только выходило, что ему нужно сто рублей на лошадь и дроги с бочкой. Если бы рубашки и штаны не носились, тогда через пятнадцать лет у Филата очутились бы эти сто рублей, а иначе не будет денег.

Макар два вечера в прошлом году при лампе считал и говорил Филату:

– Нет, брат, капитал нужен велик; если бы ты харчи не натурой получал, а деньгами... то и тогда, скажем, тебе полтора года следует не есть либо пять лет голодать – выбирай сам! Вот тебе и будет лошадь при дрогах!

До позднего вечера, пока комары силу не взяли, Захар Васильевич с Филатом кончали задний плетень. Пахло навозом и кислотой давно обжитой почвы, но и этот воздух казался благоуханием после духоты низких жилищ – и в Захаре Васильевиче он разжигал аппетит на ужин.

Ужинали они под той же сиренью. Чуткий вечер во всеуслышание разносил голоса соседей и отпирал все тайные запахи дворов. Захар Васильевич пил парное молоко и наслаждался мирной жизнью и грядущим сном. А Филат обошелся без молока – поел только хлеба с огурцами – и слушал голос соседа Теслина, что заклинал доску под живопись на завтра. Это случалось каждый вечер – все знали и уже не слушали, но хозяйка Захара Васильевича сказала: – Вон Василь Прохорыч опять забубнил! Ты где ляжешь – со мной или в сенцах?..

Захар Васильевич ответил, что в сенцах – от жары чего-то мочи нет.

Теслин писал церковные иконы, но, веря в бога, он не верил в животворящую силу своего таланта. Поэтому готовую доску – для божественного изображения – он не сразу пускал под кисть, а сначала троекратно прикладывал к животу своей жены и троекратно же произносил нараспев:

Пропáхни жизнью.

Пропáхни деревом.

Пропáхни девой...

Делал это Теслин почему-то обязательно в погожий вечер, а в ненастье копил доски до освящения их на жене, но кистью ранее

того не малевал. Ни одной иконы никто из соседей никогда не видел: через знакомого в монастырской ризнице Теслин сбывал их в дальние села и в северные скиты. Это и хорошо, потому что слободские богомольцы не стали бы молиться на такие святотатственные иконы – с живота бабы.

После ужина все жители обязательно выходили на улицу и садились на лавочки у домов – посидеть. Вышел и Филат с хозяином и хозяйкой. У хозяйки рос живот, и Захар Васильевич ждал к ноябрю мальчишку: говорил, что дом поручить после смерти некому и что фамилию Астаховых учредила Екатерина Великая – проездом по этим местам. Захар Васильевич два года боялся, что ему от царя достанется, если потомства не будет – пока жена не почала: тогда утихнул совестью и повеселел на дому. Филат не знал – не то это правда, не то Захар Васильевич зазнался от своего положения, – но ничего не спрашивал.

На лавочке уже сидел какой-то молодой, но толстый мальчик. Его знали немного: Володька, сын железнодорожного жандарма с другого конца улицы.

– Подвинься-ка, барчук, – сказал Захар Васильевич.

Тот не подвинулся, а встал, оскорбил и ушел:

– Налопались, уроды, да вышли!

Тогда все трое сели, и Захар Васильевич громко заикал, но ничуть не беспокоился об этом, а заговорил с женой о ягодах на варенье:

– Ты, Насть, вишню теперь волоком волоки, иначе не уцепишь – цена на ее пойдет! Она долго не держится!

– Я бы малинки хотела маленько прикупить – маловато сварили, на зиму не хватит – ты пить здоров, тебе только подавай!

– С малиной время терпит – ты смородину не упусти!

– Знаю, знаю, заказала одному мужику – в пятницу привезет.

– Ты молоко-то отнесла в погреб? Скиснет!..

– Не скиснет, – сейчас пойдём ложиться – отнесу!

– Завтра керосину купи полфунта – опять клопы в койке..

Филат сидел и дышал – у него ничего не готовилось впрок, – и он мог свободно умереть, если работа переমেжится недели на две. Но он никогда не помнил об этом, а прожил нечаянно почти тридцать лет.

У Теслиных тоже сидели, только на завалинке: у них не было скамейки.

Завечерело совсем – и не было видно лица у старушки, которая только что вышла из дома Теслиных. Напротив дома Теслиных также сидели люди и что-то бормотали в темноте. Старушка от Теслиных ласково сказала туда:

– Никитишна, здравствуй!

С лавочки напротив раздался певучий ответ из щербатого рта:

– Здравствуй, здравствуй, Пелагей И ванна!

И обе старушки смолкли, потому что все было заранее переговорено: сорок лет знакомы, тридцать лет соседями живут.

Сверчки напевали свою вечернюю песню, отчего на улице становилось Уютней, а на душе покойней. Вдалеке иногда шумели поезда железной дороги, но ни в ком не вызывали ни чувств, ни воспоминаний, потому что никто не ездил по железной дороге. Ежегодное путешествие, совершаемое половиной людей из слободы, было пешим: сопровождение крестного хода из ближнего Иоакимовского монастыря до раки преподобного Вараввы – восемьдесят верст по степному тракту. Еще бывали путешествия на подводах – в ближние деревни на престольные праздники, где гости объедались грубой громадной пищей и иногда кончались.

В садах слободы что-то тихо брюзжало и наводило жуть. Ночные сады – страшное видение, и никто из жителей слободы там летом не спал, несмотря на свежесть воздуха. Днем деревья стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических кущ.

– На покой пора! – объявил Захар Васильевич и поднялся, чтобы закончить сегодняшний день.

Филат лег на дворе у сарая – на куче травы, которую он заготовил впрок на все ночи у Захара Васильевича.

Ни одна слободская усадьба уже не жила наяву – все почивали или, шепча молитвы, укладывались.

Филат до тех пор смотрел на непонятные звезды, пока не подумал, что они ближе не подойдут и ему ничем не помогут, – тогда он покорно заснул до нового, лучшего дня.

Там, где Ямская слобода кончалась порожним местом, на которое валили без спросу всякую житейскую чушь, стояла старая хата вольного мастерового Игната Княгина, по-уличному – Сват. Хата имела одну комнату и одного жильца.

– Женись! – приставала многосемейная слобода к каждому холостому человеку – и к Свату. – Не торчи перстом!

– Я те женюсь! – отсекал подстрекателю Сват. – Я сам человек со значением – на что мне бабье потомство!

Сват был пришедший человек, а не здешний. Поэтому ему досталась нежилая хата на слободской свалке, где до него жили женатые нищие; но Сват их живо выселил, и побирušки рассеялись неизвестно куда, а в слободе сразу извелось нищенство.

Такой энергией Сват сразу привлек к себе добродетельных домовладельцев из слободы, и те больше не боялись ставить молоко в сенцах. А раньше, бывало, нищие ходили и самовольно выпивали это молоко, поставленное к обеду, и еще многое подъедали, не для них приготовленное. Понятно – это нехороший порядок, и хозяйева развели собак на каждом дворе, но собаки постепенно привыкли к нищим и не лаяли на них.

Тогда явился Сват и лишил главных нищих жилого призора, отчего они, не ожидая зимы, выехали в дальнейшие южные города.

Слободская свалка, составлявшая как бы усадьбу дома Свата, была знаменитым местом. Сам дом Свата был тоже когда-то свалочным жильем без оконных рам, без печки и без потолка: одни стены и редкая железная крыша. Дом некогда принадлежал неизвестному бобылю, теперь давно умершему. Слободской староста определил цену этому беспризорному недвижимому имуществу в восемь рублей сорок три копейки, но в казну поступают имения лишь дороже десяти рублей – так дом и остался ничьим, а впоследствии им овладели нищие. Сват хотя и изгнал нищих, но уважал их за одно, что они привели дом в жилой и гожий вид.

– Да это делалось не от ума, а от зимней вьюги! – объяснял он себе домовитость нищих.

Однако выселенные люди ушли не сразу, а месяца два громили по ночам окна камнями и поджигали деревянную дверь. Но Сват одиноко выдерживал осаду, а на заре, когда нищие уставали от

штурма и засыпали на близлежащих кучах мусора, Сват делал вылазку. Он не мстил обездоленным, а только заставлял их исправлять ошибки неразумного поведения.

– Ключник! – подходил Сват к которому-нибудь сонному нищему: он их всех изучил поименно. – Расшивай рублевку – ты оконную раму повредил!

Ключник сразу догадывался, в чем дело, и поэтому никак не мог проснуться. Баба его давно проснулась и хлопала глазами от ужаса, а муж ее лежал и притворялся, изредка бормоча не относящиеся к делу слова. Сват стоял и терпеливо предлагал Ключнику уплатить рубль. А нищий то откроет глаза, то закроет – и ничего будто не понимает. Тогда Сват брал где-нибудь строительный кирпич и швырял им молча в голову нищего, но так ловко, что кирпич только обжигал воздухом ухо, а в голову не попадал.

– Расшивай рубль, сатана! – грозно гремел огромный Сват.

Жена нищего, визжа и приговаривая, вскакивала и расшивала из захолустий юбки рубль. Сват, получив причитающееся, отставал и уходил разыскивать в кучах следующего должника.

Наверно, Сват был раньше метким солдатом или фокусником на деревенских ярмарках, что так ловко и безвредно мог бить в опасные места.

Отучив нищих, Сват занялся беспримерным делом: отысканием в свалочных кучах драгоценных вещей. Только чужому, приبلудному человеку могло прийти в голову такое соображение. Ямская слобода жила так бережливо, что стаканы оставались целыми от деда и завещались будущим людям. Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так, на потомственном накоплении – только и держалась слобода. Но Сват не знал, что в слободе люди живут не заработком, а жадностью, и надеялся сыскать на свалке кое-что общепольное, чтобы сбывать и кормиться.

Прокопавшись с неделю, Сват догадался, что ему надо или бежать отсюда, или умирать с голоду – в отбросах скупости не попадалось драгоценных потерь. Все-таки Сват надеялся хоть на что-нибудь и рыл руками кучи, изучая в точности каждый

предмет. Но кости были обглоданы так чисто, словно обожженные, и так тонки, точно принадлежали курице, поэтому их не брали сборщики костей и тряпок; несомненно, что и эти кости предъявлялись сборщикам и пошли на свалку только после неоднократных отказов их.

Тряпичная ветошь дымилась на пальцах и явно не годилась больше ни в какую отделку. Неведомый прах сыпался в горстях Свата, тоже ничем его не привлекая.

В ветренные дни все это забвенное дерьмо пылило и осаждалось где-нибудь по ту сторону хозяйственной жизни человека. Но Сват не успокоился: он выпросил у одной вдовы огромное прямоугольное сито – принадлежность веялки – и начал сквозь него просыпать все кучи по очереди. Оставшиеся сверх сита предметы он, не изучая, относил в домашний угол, а по вечерам рассматривал добычу. Первый вечер не принес ему никакого утешения: в добыче значились куски твердого закоснелого кала, изжившие себя мочалки четверть подошвы от валенка, какая-то жестяная зазубринка в два зуба, махор с чепца или камилавки, два камушка, веточка с сухими ягодами – «бесево» крошево бутылочного стекла, окамелок веника, птичье гнездо и многое иное но равно дешевое.

Сват в задумчивости сидел до полуночи, а к заре окончательно поник от беспросветной нужды.

– Буду шапки делать – скоро осень! – сказал он себе утром. – Может, что выйдет! В слободе шапок не готовят, а в городе они дороги, а я по дешевке их буду шить из старых валенок, абы голову человеку грело!

Днем Сват ходил в город – продал сапоги и зипун, – а под вечерний благовест уже был в слободе. За плечами у него держался мешок, в руках палка от собак, а в кармане четыре рубля и два гривенника.

– Валушки ношенные, старые, чиненые здесь покупа-аю! – кричал Сват чужим голосом и озирался на окна и калитки.

Часа два ходил Сват с одной и той же песней – и все зря: ничего не купил. Только раз высунулась из ворот баба в нижней юбке и с намыленными руками:

– А расколотые утюги не берешь?

– Нет! – сказал Сват.

– А чего же ты берешь?

– Валенки!

– Так кто ж тебе их продаст, на зиму-то глядя! У-у, бестолковый пралич! Ты б утюги брал аль вьюшки печные чинил!..

– Того не надо мне! – говорил Сват. – Иди стирай подштанники, а меня не учи: я сам ученый, сученый, крученый, моченый, печеный, драченый... Валушки ношенные, старые, чиненые – здесь покупа-аю!

Баба пучила на проходимца одеревенелые, напуганные глаза, а потом в сердцах хлопала калиткой.

«Хлеб только собрали – какая же зима? – думал Сват. – До чего ж тут народ заботлив – вперед времени идет!»

Филат с Захаром Васильевичем в это время закончили плетень. Но чтобы работнику вышел полный день и оправдать его ужин, Захар Васильевич нашел дело:

– Филат, прочеши плетень, чтобы он не пушился, а потом к Макару сбегашь за ведром – он ушко приделал!

Филат пошел вдоль плетня, чтобы вправить внутрь торчащие хворостины, а иные лишние изъять прочь. Плетень от такой правки получался ровный и плавный, а каждый свиток прутьев лежал уместно. После такого дела Филат надел валенки, чтобы не берeditь израненных плетнем ног, и тронулся к Макару.

Сват к этому часу купил пару валеных опорок и шел знатной походкой.

К такой походке его располагало плотное, стройное тело и выправка прежней, неизвестной жизни. От радости первой удачи Сват неугомонно орал свой призыв к продаже валенок.

Филат шел навстречу ему враскорячку – он никогда не служил в солдатах и не видел в жизни ничего строгого, точного и мощного.

– Скидай валенки, Филат! – сразу предложил Сват и стал в уме определять цену.

– Для чего, Игнат Порфирыч? У меня ноги в ссадинах, а от худобы желваки пошли!

– Что ж ты худой такой? – серьезно спросил Сват и положил наземь мешок. – Некормленный, что ль, живешь или сам больной?

- Да я, Игнат Порфирыч, к вечеру слабну, а по утрам встать не могу...
- Говядину-то часто ешь, сны по ночам видишь? – снова спросил Сват и с мрачной задумчивостью оглядел всего Филата.
- Снов я не вижу, Игнат Порфирыч, мне думать не о чем, а говядину хозяева сами едят – ее не укупишь, говорят, – а мне овощ порцией дают!
- Ишь сволочь какая! – не со злобой, а с горем проговорил Сват. – От овоща в человеке упора нет!.. А там, черти-дураки, кровь проливают...
- Где? – спросил Филат, и глаза его засочились от чужого участия.
- Где – не на бабьей бороде: на войне! Слышал ты что-нибудь про войну иль тут анчутки живут?
- Слышал, Игнат Порфирыч! У меня в теле недомерок есть – бумагу на руки дали, так и хожу с ней – боюсь захватить куда-нибудь. А по нашей слободе мужиков мало забрали: кто на железную дорогу учетником стал, а кто белобилетник.
- Знаю, тут ямщики живут – екатерининские помещики! Им что: мужик к зиме всего доставит!
- Это правильно, Игнат Порфирыч, осенью обозами прут!
- Ну, ладно, черт с ними! – закончил беседу Сват и после молчания кратко определил население Ямской слободы: – Глисты в мужицких кишках – вот, кто твои хозяева!
- Филат не сообразил, но согласился: он не считал себя умным человеком.
- Ты кроток, но глуп – не особенно! – успокаивал Филата Сват.
- Да мне что, Игнат Порфирыч, весь век одними руками работаю – голова всегда на отдыхе, вот она и завяла! – сознался Филат.
- Ничего, Филат, пущай голова отдохнет, когда-нибудь и она задумается! – говорил Сват и шумно выдыхал воздух, скорбя всею грудью. – Ты у кого работаешь-то сейчас?
- Да у Захара Васильевича нынче плетни кончили в саду, а завтра пойду по дворам напрашиваться!
- Ты вот что – приходи ко мне шапки шить, а там видно будет!
- Аль ты умеешь? – усомнился чего-то Филат.
- Можем. А ты поймешь?

– И я справлюсь! – подобрел Филат и пошел наконец к Макару за ведром. А Сват тронулся дальше опрашивать слободу насчет валенок.

Два человека сидели на земляном полу в хате Свата и ладили из стволов валенок зимние шапки. Работали они уже целую неделю, а сделали всего четыре шапки. На обед им шли хлеб, огурцы и капуста, но они были довольны; только от скуки дикого ландшафта свалочной пустоши и какой-то тесной темноты в сердце Свату иногда казалось, что солнце навсегда померкло и он проверял его взором в окно, а солнце заходило за облачко, освобождалось – и вновь светило.

– Перетерпело, сволочь! – говорил о солнце Сват. – Вот, подлюка, над всякой жизнью светит – ничего не ценит: хуже скота!

Вечерами они не отдыхали – Сват спешил к Успенской ярмарке, чтобы хоть немного выручить денег и облагородить себя и Филата в одежде.

Когда становилось по-ночному темно, Сват кончал первым и говорил:

– Будя, Филат, – ноги свело, в душе морщины пошли! Достань из мешка хлебца – пожужем, и аминь!

В слободе шел густой сон, даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля, выгоняя дневные человеческие яды.

Сват любил перед сном постоять на крыльце и поглядеть ночной мир. Он видел, как внутрь огромного туловища земли уходило ее гремящее, бушующее сердце и там во тьме продолжало трепетать до утреннего освобождения. Свату нравилось это ежедневное событие, а ничего удивительного не было.

Спали они жутко – от усталости и общей тяжести жизни.

4

Подружился Филат со Сватом теплее кровного родства и думал навек остаться у него шапочным сподручным, если Сват преждевременно не прогонит.

Зато без Филата на слободе многие дела пришли в запустение: поздно обнаружилось, что Филат был единственным и необходимым

мастером, способным пользоваться всякое дворовое хозяйство. Другого такого кроткого, способного и дешевого человека не было. Иные хозяйки приходили к Филату на свалку и стучали в окошко.

– Филатушка, ты бы зашел: крыша мочится, в самоваре решетка провалилась!

По доброте сердца Филат никому не мог отказать.

– Как управлюсь – зайду, Митревна! В воскресенье жди обязательно.

Сват обижался на сговорчивость Филата:

– Чего ты этих юбошниц приучаешь? Мало они тебя порцией овощи кормили! Дурной идол!

Раз зашел Захар Васильевич, оглядел шапочное занятие и попросил.

– Зайди, Филат, жена двоих снесла – не знаю, куда деваться! – И ушел, не услышав по глухоте ответа Филата.

– К этому сходи! – сам сказал Сват. – Человеку действительно трудно!

В воскресенье Филат явился к Захару Васильевичу. Бледная, омертвевшая хозяйка лежала на деревянной кровати, на которой от клопов в обыкновенное время не спали. Филату стало жалко хозяйку, и он молча глядел в ее тонкое, благородное лицо.

– Ты что, Филат? – мучительным шепотом спросила хозяйка. – Пришел?..

– Пришел, Настасья Семеновна... Может, вам помочь нужно...

– Ах, мне ничего не надо, Филат. Спроси у Захара!

Филат почувствовал стеснительную неловкость от своего бесполезного участия и ушел из горницы. Ему было чего-то жалко и совестно, как будто он повинен в мучении Настасьи Семеновны. Тело его ломало от нервной боли, и он горел от непонятного тягостного стыда, какой случался с ним в ранней молодости. Он никогда не искал женщины, но любил бы страшно, верно и горячо, если бы хоть одна рябая девка пожалела его и привлекла к себе с материнской кротостью и нежностью. Он бы потерял себя под ее защищающей лаской и до смерти не утомился бы любить ее. Но такого не случилось ни разу – и Филат волновался и трепетал сейчас от чужой брачной тайны.

Захар Васильевич ходил добрым и негромко указывал:

– Филат, наноси воды на ночь!.. Курам не забудь пашенца дать к вечеру!

Филат и сам следил за всем в такой день. В неугомонной суете ему всегда жилось легче: что-то свое, сердечное и трудное, в работе забывалось. Про это и Сват однажды сказал:

– Работа для нашего брата – милосердие! Дело не в харчах – они надобны, но человека не покрывают! В работе, брат, душа засыпает и нечаянно утешается!

И Филат нынче с яростью мел двор, сделав все остальное, о чем мог догадаться. Захар Васильевич выходил редко – все сидел в горнице около жены. Это тоже почему-то радовало Филата. «Сиди, брат, – думал он, пыля метлой, – я уж тут сам управлюсь, я один, а вы – двое: не обижай жену!»

До полночи бродил по двору Филат, следя за тишиной и порядком, но все давно замерло, только одна наседка квохтала на яйцах в сарае.

Что-то тревожило Филата и настораживало на бдительность, но из дома ничего не слышалось, – наверно, Настасья Семеновна уснула и восстанавливала свои силы, истекшие с родовыми кровями.

Утомившись, Филат постелил под дворовой сиренью свой старый пиджачок и склонился ко сну, но спал так чутко, что слышал над головой ход и дрожание ночи. Где-то на слободских пустырях неугомонно брехала собака, ей издалека и одиноко отвечала другая – и лай их жалобно и безответно тонул в густоте тьмы. Филат слышал лай сквозь толщину померкшего медленного сознания, но звук был такой тонкий и грустный, будто шел из неизвестного потерянного мира, – это успокаивало Филата, и он не просыпался. Сиреневая ветка шевелилась над самыми глазами Филата, но ночь лежала плотно и не трогала спертый воздух: ветка колебалась сама – от Древесной жизни и внутреннего беспокойства.

Проснулся Филат на ранней крепкой заре – через сени было слышно, как в горнице судорожно плакал ребенок Настасьи Семеновны, в первый раз от рождения. Филат сейчас же поднялся на ноги и пошел по двору, прислушиваясь к странному, жалобному крику.

Скоро ребенок плакать перестал – Настасья Семеновна чем-то материнским ублаготворила его, – и наружу вышел Захар Васильевич с равнодушным, измученным лицом.

– Филат! – сказал он. – Ставь самовар – теплая вода нужна, а позже на базар сходишь и в аптеку!

Филат с особой цопкой ловкостью начал щеплять лучинки, радуясь своей полезной работе для Настасьи Семеновны и цветущему будущему дню.

Слободские жители тоже поднялись и бродили по дворам в поисках разных житейских вещей. Они еще зевали, чесали глаза и жмурились от настигавшего их расцветающего солнца. В этот ранний прозрачный час у каждого человека в груди томится восторг, но позже – часам к десяти – у радости вышибается дух домашним остервенением и злобой всяких забот. На третий день Захар Васильевич назначил крестины, но с полудня отказал Филату в работе, так как пришли две кумы, которые одни смогут управиться в хозяйстве.

Филат взял пиджак, подвязал веревочкой подошву к валенку и пошел на свалку к Свату. Настасья Семеновна сидела в горнице и тюлюлюкала своих двоешек, а около окон с улицы стояли озабоченные бабы и шептались о таком событии.

Для Свата и Филата зима бы прошла плохо, если бы они не были так дружны. А для слободы она тянулась долго и худо: война звала мужчин, а жены вдовели и тосковали. Но пропадало народу не так много: вблизи слободы уже лет десять строилась и чинилась какая-то железная дорога – и там укрывались люди от военной службы.

Захар Васильевич тоже поступил кровельщиком на железную дорогу и с утра уходил на работу, набирая в мешок харчей. Труд, видимо, томил его, и он жил с осунувшимся, оскорбленным лицом.

– Игнат Порфирыч, а почему вы не на войне? Вон малый у Гладких – такая хужоба, и то забрали! – спросил однажды днем Филат у Свата.

– Э, куда ты вдарил, браток! – хитро засмеялся Сват. – Я человек на исходе: у меня контузия в голову – помаленьку с ума схожу!

Филат открыл рот и сказал:

– А-а! А с виду вы человек умный, Игнат Порфирыч!

– То-то я и шапки с тобой из ветошек леплю – вошь на чужой башке утепляем! А был бы дурак – я бы в окопах под царем и отечеством лежал.

Филат опять открыл рот, но не сообразил, что дальше спросить.

Вечером, укладываясь спать. Сват сам сказал с попонки:

– Я, Филат, ушел с войны по своему желанию! Дюже там скорбно, и своя жизнь делается ни к чему. Только ты никому зря не сказывай!

– Да мне что, Игнат Порфирыч! – испуганно и поспешно ответил Филат. – Ай мне нужно? Только вы сами напрасно кому не скажите, что мне открылись! А то мне первому достанется!

– Что ж я, сам на себя буду, что ль, наговаривать, курья твоя башка? – зычно обиделся Сват и разжег потухшую сигарку.

И весь разговор забылся. Некаýаlar